



В. В. РОЗАНОВ

Ж.-Ж. Руссо

Все изменилось. Ты видел вихорь бури,
Падение всего, союз ума и фурий,
Свободой грозною воздвигнутый закон,
Под гильотиною Версаль и Трианон
И мрачным ужасом смененные забавы.

Пушкин¹

Позволю и я себе, хоть немножко и запоздаю, сказать несколько слов о Руссо, 200-летний юбилей рождения которого только что отпраздновался всею печатью. Предмет этот так велик и интересен, он до такой степени *вековой*, что запоздание в 2–3 недели не составит важности. Ведь *все* этот месяц *подумали* о нем; пусть моя дума присоединится к думам всех.

Никто так полно и жизненно не выразил значения Руссо, как Наполеон, сказавший, что «без Руссо не было бы революции»². В устах Бонапарта это была почти исповедь. Мы помним его всегда как императора и властелина; но он прошел, хотя и узенькую, полоску юности, мечты и сердечного воображения. В словах о Руссо он как бы сказал: «Разве мы все тогда начали бы так *ломать* старую Францию, не появился этот Руссо со своим гипнотизмом красноречия, веры, вторичного и чистого детства человечества»... Наполеон выразил в словах о Руссо то, что он чувствовал и знал; чего мы теперь не знаем, отделенные 1¹/₂ века... Чему мы просто должны верить как факту. Мнение Наполеона о Руссо есть *факт* истории, а не одно только суждение.

Но французская революция — первый день новой Европы. И Наполеон сказал собственно неизмеримую мысль, что вся новая Европа более или менее обязана своим рождением

странному духу, странному влиянию, которое произвел этот «литературный бродяга», каким и по существу и по форме, и по сочинениям и по биографии был Руссо. «Бродяга» — без порицания; просто — как портрет. Действительно: «своего дома» не только не было у Руссо, но Руссо и невообразим в «своем доме», и вообще в каком-нибудь постоянном жилище, на долговременной квартире. Руссо — сама *неустойчивость*; он вечно переходит из одного положения в другое, от одних мыслей к другим, из одного города в другой, от одной возлюбленной к другой, от одной должности и профессии — в другую, от одних друзей к другим и т. д. Это бывает и у других, но как черта величайшего легкомыслия и пустоты человека. У Руссо же это была — трагедия, страдание, доведшая его почти до безумия и ранней смерти. Он *не мог* стоять на одном месте, томясь вечным томлением по чему-то новому, «другому», чем его «сегодня» и «здесь». И это как душевно, так и физически. Его земля не держала, и он не держался на земле. Есть что-то воздушное, птичье в нем. Говорят, всякий человек похож на какое-нибудь животное; обычно сухопутное: на быка, на лошадь, на верблюда, на свинью. Руссо был сходен паразитическим сходством с какою-то птицею — с длинными крыльями и крошечными, слабыми ножками. И он пролетел над Европою, запев большую песню, большую и зовущую, большую и тоскливую. И все подняло голову, отозвалось. Все почувствовало в груди своей отзыв на эту песню. Вот откуда значение Руссо. Он мог бы петь о том, что ему одному понятно. Это могло бы быть прекрасно, но не было бы значительно. Суть в том, что он запел мировую, общечеловеческую песню, мотив которой, собственно, вечен в человеке, глухо знаком всему человечеству. И все поднялось. Получилась «революция».

Кант, Гете, Байрон, Толстой — люди, достаточно великие и не любившие от кого-нибудь «зависеть», равно говорят, и с любовью, а не с «несносным чувством», о своей зависимости от Руссо. Кант признавался, что он на несколько недель остановился в писании философского трактата, когда появился его «Эмиль»; Толстой много лет тайно носил на груди портрет Руссо вместе с крестом. Такие лица революции, как Сен-Жюст, Робеспьер, не говоря о громадной *толпе* «людей революции», собственно, лишь портретно выражали в себе идеи и дух Руссо. Влияние на Толстого, на Канта?.. Да кто *он*, влияющий? — Мальчик, безумец, любовник «доброй Терезы», темный воспламененный юноша...

Поразительный факт. Мировой факт.

Что такое его идея «первоначального невинного состояния человека»? Да идея — Библии. Идея Рая, Адама и Евы, грехопадения. Почему же, как страница Библии, она не заражала, а как «сочинения Руссо», всех заразила, взволновала и увлекла? Все обезумели от этой мысли, образа представления, надежды, чаяния. Что такое, в чем загадка? В Библии мы это учим десяти лет, и давно надоело; в 17 лет «не верим этим басням». Вдруг стали том за томом, трактат за трактатом выходить «сочинения Руссо», где была и билась пульсом эта в сущности *эпическая* страница Библии, но она уже билась как *лирика*, как призыв, как плач и знамя, как *земной насущный идеал*, по которому «завтра начнут переделываться все дела». «Вернем себе рай», «вернем себе невинность». — Как передает в подробностях Тэн, об этом грезили и в королевских дворцах, и герцоги, и последний мещанин³. Все «опростились», Мария Антуанета опростилась и из своих рук кормила своих коров свежей травой⁴. Деланно или неделанно, сильно или безуспешно — но порыв *сюда* у всех был. Все рванулись в *невинность, первоначальность* и *рай*. Даже Кант задумался: «не снять ли мне ученый колпак и не сделаться ли просто теленком, жующим в поле траву». А Фауст и его скука мудростью, его томительное желание опять юности, любви и непосредственности?.. Везде — Руссо, все — Руссо.

«Революция» совершенно понятна после Руссо, как она непостижима, и просто ее бы *не было* без Руссо. Были бы «преобразования»: но «преобразование» — не революция, и особенно не эта первая революция. Революция с ее террором, с готовностью «всех зарезать, если они не по Руссо живут», миссия Робеспьера — все это с явным безумием, эпилептичностью, захватом в грудь столько воздуха, что выдохнуть невозможно, — есть явление *solo* в истории. Ни на что она не похожа. Революция была в сущности припадком: и этот «припадок» вызвал Руссо. Таким образом, вся его личность и миссия есть не очень литературная, но *глубоко историческая*. «Литература», что он был писателем — случайность. Явление, именуемое «Руссо», «приход в мир Руссо» — есть феномен религиозной жизни, религиозной судьбы Европы: это есть арийская форма религиозного события, типично арийская, но и типично религиозная. В сущности, Руссо и не думал повторять страницы Библии; она ему и на ум не приходила; из современников, кажется, никто не отметил, что «это просто первые четыре главы книги *Бытия*». Руссо не подражал, не повторял. Он сотворил из *себя* и *сам* великую религиозную

страницу — великий религиозный пароксизм. Случился типичный европейский религиозный припадок в конце XVIII века. Это и есть революция.

Жгли, рубили, разрушали: как в Тридцатилетнюю войну, как католики в Чехии после Белогорской битвы⁵, как те же католики в Лангедоке и Провансе, как иезуиты, не задумываясь, истребляли «врагов папы». Руссо назвал папою «народ» и «невинность», и Робеспьер начал рубить головы «неверных» этому «папе»: с тем же чувством *правоты* и веры, что «будущее оправдает его». Восстановление «невинного состояния» было религиозною верою, религиозною темою, было «вероисповедною задачею *на завтра*»... Тут не задумываются, не задумывался никто. «Террор» только и можно понять, придвинув к нему «гугенотов». Люди явно безумеют. Но ведь послушайте: и по Платону, «действительность есть *преходящее*», «на земле мы только *странники и умрем*»... Но если так, если все реальное есть лишь *кажущееся*, то кто знает, не открывается ли в слепые и безумные моменты человечества трансцендентная сущность мира, земли и существа человека... «Долой голову мещанству, обыденности и прозе: и да здравствует пожар, сон, сновидения и опять пожар».

Кто знает, где *сущность*, в громе или в ясном дне.

И настал гром. И засверкали молнии.

Потом град, ливень. Повалились вековые дубы. Это — революция.

А «дунул» ее бездомный странник Руссо.

Все отмечают в нем странное детство, присутствие «впечатлительного мальчика» уже в зрелом по возрасту человеке. Это — его сущность. Да оглянитесь и на действительность: ведь «пожары зажигают мальчишки». Какое-то мировое *emploi*. Какому же великовозрастному человеку, статскому советнику или государственному поэту Гете, придет на ум поджечь дом или крикнуть революцию. Революция *по существу* есть детское дело, детское и разбойное, детское и поджигательное. Юность имеет свои исторические *emploi*. Философия — старости, дипломатика и политика — старости же, суд и служба опять — принадлежат старости, зрелому возрасту. Но та бездна действия, каковая есть в «громе и молнии», — бездна и масса движения, захвата воздуха в грудь принадлежит,

естественно, юности — даже отрочеству. И «революцию» мог родить только «неумытое дитя» своих «Воспоминаний» («Confessions»), этот Жан-Жак.

Смешон для всех.

Велик для всех.

Комик — для Вольтера.

Серьезное явление — для Канта.

Он и привил свое «мальчишество» целому веку, всему поколению. Отсюда краски революции: кроваво-страшной, детски-увлекающей, живой, полной какого-то яркого «я» в каждой точке и в каждой минуте, безумной для всякого рассудительного человека, для всякого делового человека и совершившей, однако, такое дельное дело, какого бы не совершить полку великовозрастных титанов. От этого, например, мальчишеского духа, мальчишеского пафоса от 1790 до 1799 года, произошла неудача Мирабо⁶, человека совершенно зрелого и мудрого. Во время революции ничего вообще «мудрого» не могло удалиться: могло удаваться только безум-
<пропуск в тексте против нее всей мудрой «критики потом»; критики и Тэна, и нашего Любимова («Против течения; беседы о французской революции»), и проф. Герье (комментарии к Тэну)⁷. Все у них у всех — верно, с одной стороны, рассудительно, исторически-правильно; а с другой стороны — и совершенно неверно, вполне антиисторично. Конечно, «родители знали», что любовь Ромео и Джульетты «принесет им вред». Но «родители» никак не могли бы дать сюжета для великолепной хроники Вероны и трагедии Шекспира, и для мирового любования этою «горестною историей»; 17-летние дети — дали. Нужны ли *миру* Ромео и Юлия? Для «произведения потомства» — не нужны, но для *красоты мира* — в высшей степени необходимы! Дело в том, что самая-то «мудрость» имеет в себе этажи и этажи, слои и слои: и «мудрое», положим, в третьем этаже — совершенно «глупое» в шестом этаже, а «мудрое» для шестого этажа — «никуда не годится» в этаже третьем. Так что прав и Любимов, но прав и Сен-Жюст.

Невероятная сила и все историческое значение Руссо происходит оттого, что он изменил как бы *протоплазму* людей своего времени, поколения своего. Изменил новым духом и новыми темами, новым материалом своих сочинений. Извест-

но, «протоплазма» долгое время оставалась скрытою и никому неизвестною; эта незаметная жидкость внутри кровяных шариков не считалась ничем важною или никто не мог понять ее значения, потому что она — однородна, плоска и неинтересна. Все смотрели на голову, руки, на органы, глаз, почки, легкие, сердце. Политика и история до Руссо и имела дело с этими массивными фактами, с огромными факторами большой политики и дипломатики; с дворами, министрами, королями, придворными, с любимцами-фаворитами, которые «все решали» и «все устраивали», «удачу» и «неудачу». Пришел Руссо. Что же он стал делать? Именно стал действовать на протоплазму Франции и всего тогдашнего читающего человечества. Этот грязный мальчишка, назвавший себя забавным именем *citoyen de Genève*⁸, начал рассказывать о своей доброй Терезе и пакостях с мадмуазель Лавассер⁹, как его секли и что он при этом чувствовал, и т. п. глупости, совершенно не профессорские. Он стал выдавать маленькие секреты человечества, которые и у других бывали «в его положении», но все условились об этом молчать. Вообще, *человечество* состоит из человечества «в разговорах» и из человечества «в молчании». Вот это второе совершенно никому не было известно, т. е. не было известно в литературе, в политике; «про себя»-то каждый о нем знал, но знал, каюсь и ограниченно, только именно «о себе», т. е. без значения и силы. Руссо вызвал к действию и арене это «человечество в *молчании*», которое через литературу вдруг слилось *в одну* у мириад душ, у миллионов таившихся индивидуальностей: и тогда, естественно, получило *силу*, стало громом и молнией. «Бог весть откуда взявшимся». «Искорки-то всегда везде были — для шалости и в шалостях». Вдруг заговорил Руссо, заговорил об интимном и внутреннем, о пакостях и молитве («Исповедание савоярского священника»), о своей тоске, о своей грусти, о своем — «не знаю, где найти место себе», о своем — «мне ничего не нравится», о своем — «я нахожу ложь во всем». И появились синие молнии, клубы молний. «Не понимаем и *мы*, для чего живет человек со своими фижмами, пудрою, в расчищенных парках из аллей постриженных деревьев, — со своими менуэтами, приседаниями, интригами и враньем».

«И потрясся Олимп многохолмный», — как говорит Гомер. Все затряслось в Европе: потому что ведь думать-то это стали *все*, до «встречи двух дворян на Невском», а век Екатерины, «заговоривших шепотом о вновь напечатанном *Эмиле* этого чудака Руссо, этого святого Руссо, этого безумца и вместе

гения». «Мальчишка Руссо» заговорил *тайну* всех, заговорил о *тайном* во всех: что же было делать правительствам? Не стрелять же из пушки по этому «грязному мальчику» и «двум дворянам на Невском», тихо разговаривающим между собою. Между тем короли, придворные, вельможи и министры вдруг почувствовали, что они обессилели каким-то внутренним бессилием и что какие-то неведомые силы начали нарастать «совсем в стороне» и «где им не указано», — у этих частных людей, без формы, без определенности и даже «без определенных занятий»... «Солнце» закатывается здесь, «другое солнце» восходит там. Совсем космический переворот, и его произвел Руссо. Произвел именно этой тайной своей протоплазмой, «не расстреливаемой из пушек». Теперь — не Помпадур и Ментенон, а — провинциальная девушка Шарлота Кордэ; не Неккер или Кольберг, а Шиллер с балладами, «Разбойниками» и «Маркизом Позой»; не Людовик XVI и даже не Мирабо, который все-таки мог бы быть у него министром, а сумасшедший поэт Руже-де-Лиль¹⁰, которого куда же взять в министры. Бабеф, Сен-Жюст и гильотина. И, наконец, не трон и «управление», а ревущая толпа и ее судороги. Чудовищный горный поток, все разрушающий, — лавина, оборвавшаяся с вершины горы, — вот революция. Какие тут рассуждения, какая рассудочность! На 10 лет из Франции вдруг пропало «управление» пропало не в физике своей, а в метафизике, в *суги*. «Управления» вообще не было, никакого! Какая же «канцелярия» в жерле вулкана, в котором все кипит и выбрасывается; а вы хотели бы подставить «рельсы» для этих выбросов. Тэн безумен со своей рассудочностью. Он эмпиричен был здесь, в своих рассуждениях о революции, которая вообще не «рассуждается», и это в ней — не побочное, а суть.

Тут не рельсы были нужны, а меч. Контрдинамит. И его принес Наполеон, в своей колоссальной личности, тоже единственной. Мне как-то обмолвился один из медиков, что «у Наполеона был пульс 40 ударов в минуту», когда у человека он бывает нормально 70 ударов. Жалко, что не посчитали пульс у Руссо: у него, вероятно, был дрожательный, мелкий пульс, 100 в минуту. И Руссо, и Наполеон были «иначе рожденные люди», и в этом все дело; иначе, нежели как вообще рождается человечество. Человек-пулемет (Руссо) и человек царь-пушка. Один мелкую дробь свою рассыпал по всем щелям человечества, другой чудовищным ядром сразу смел все. Наполеон есть другой фазис революции; революция же, но во второй ее фазе — *устройственной*. Всякое извержение вулкана прекра-

щается. Всякая революция должна *кончиться*: это не ее слабость, это ее *суть*. Но после революции «все остается в другом виде» и все начинает жить «по новому закону». «Революции» в истории человечества то же, что «геологические перевороты» в истории планеты. Они «само собою» бывают редки, «само собою» — на больших расстояниях и «само собою» — проходят. Что за «планета», которая вечно перемещается. Суть планеты, конечно, *устойчивость*, и суть истории — именно *быт*, «изо дня в день», «сегодня, как вчера». Консерватизм как *постоянное*, консерватизм не в физике своей, а в метафизике — лучше, вечнее, нравственнее, благороднее «переворотов»: но, конечно, консерватизм «как следует», т. е. как благородный ясный день, полный день. Солнышко взошло и зашло без облачка — вот идеал. Но когда «все моросит», «ветер дует», на земле «слякоть» — ну, пусть буря «прометет» все. Но с мыслью: «пусть пройдет и она». Эта-то мысль для всякой бури — окончательна. Буря — все-таки зло, и переносима только для уничтожения еще худшего, для малярии, заразы, болезней, непорченного воздуха. До сих пор все ошибаются, что в «буре» содержится что-то самостоятельное, какое-то вечное начало, что она «в себе и безотносительно» хороша. Нет, окончательно-то и безотносительно хорошо «изо дня в день» — как и говорит народ *вековым* умом: «тишь да гладь, да *Божья благодать*». С абсолютной точки зрения, «от Адама до последнего человека», — Руссо был грех, болезнь и преступление. Смотрите, и какой он был в биографии своей уродливый, болезненный, весь неправильный. Боже: ни «гражданин», ни «человек». Именно — пульс 100 ударов в минуту, лихорадящий; какая-то протоплазма по виду, по «жизни». Что-то в высокой степени бесформенное, зыбкое, неустойчивое.

Бог благословил Руссо (его *личностью*, его *сутью*) человечество и наказал человечество.

Через него — казнь, через него — возрождение. Но наконец его пора забыть.

Вот Руссо и к нему отношение.

